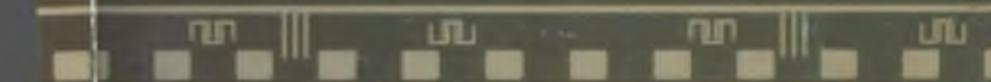




Павел Баулин

ВОЗВРАЩЕНИЕ
в прошлую жизнь



Павел Баулин

ВОЗВРАЩЕНИЕ в прошлую жизнь

стихотворения

Любимый
- замечательный
и добрый
Павел Баулин
Сент. 2011.

издательство
«Дикое Поле»
2011

ББК 84(4=Рус)6-5
УДК 821.161.1-1
Б 29

Баулин П.Б.

Б 29 Возвращение в прошлую жизнь: Книга стихов. –
Запорожье: Дикое Поле, 2011. – 144 с.

«Возвращение в прошлую жизнь» – новый поэтический сборник Павла Баулина, который выходит после почти 20-летнего «молчания» поэта. В книгу вошли стихотворения, написанные поэтом в последние годы, а также некоторые стихи из предыдущих сборников.

Павел Баулин – член Союза писателей СССР с 1987 г. (ныне член Союза писателей России) – известный русский поэт, живущий на Украине. Предыдущие книги стихов Павла Баулина: «Родниковые дни» (1980), «Камертон доброты» (1986), «Слово и дыхание» (1988), «На память обо мне» (1992).

ISBN 978-966-2994-66-7

ББК 84(4=Рус)6-5
УДК 821.161.1-1

ISBN 978-966-2994-66-7

© Баулин П.Б., 2011

© Дикое Поле, оформление, 2011

Минувшие лики грядущего (наставления добровольца)

Наверное, имя, которым был наречён, играло серьёзную роль в ключевые моменты моей жизни.

Павел Баулин. Так звали молодого красноармейца, добровольца, который сложил свою светлую голову в январе 1942 года под Сухиничами, защищая Родину. Когда у моего отца — Бориса Баулина, тоже фронтовика, через четыре года после войны родился сын, он назвал его (меня!) в честь погибшего брата — Павлом.

Павел Баулин (не я) сочинял стихи. Сохранилось всего несколько строк, стихотворение, посвящённое нижегородской красавице Зое. Павел любил Зою. Они не успели пожениться — началась Великая Отечественная...

Году в семьдесят пятом я случайно в поезде встретил женщину, которая была подругой Зои. Как и мой дядя Павел, Зоя ушла на фронт. Она не погибла, но вернулась домой без обеих ног. Она не дождалась жениха. А если бы дождалась?..

Я рано потерял отца. Мне было чуть больше двадцати, когда его подорванное военным лихолетьем сердце остановилось. Думаю, мы с отцом так и не успели пообщаться по-взрослому. Тогда. А сейчас... За эти тридцать девять лет, что его нет на этом

свете, не было ни одного дня, чтобы я не думал об отце, не делился с ним своими переживаниями, чтобы он мне не снился. И несмотря на то, что я уже намного старше отца, он и сегодня поддерживает меня, учит. Реально.

В сознании и в подсознании моём никогда не угасает чувство ответственности за данное мне имя. А часто будто бы смещаются, наслаиваются времена. Вот он, вот — мой отец поднимают в атаку взвод в своём далёком 42-м. И я поднимаюсь вслед за ним. Из своего времени. Я не могу бросить в бою отца, я не могу бросить в бою Павла Баулина, *того* Павла!

У нас общий враг. У нас общая цель. У нас, воистину, одна Победа!

...Свои первые виршики я написал лет в 12–13. Когда был семиклассником, в школе у нас выступали запорожские поэты — Иван Кашпуров и Петро Ребро. И я там осмелился почитать свои стихи... Пётр Павлович Ребро пригласил меня на занятия областного литературного объединения. Так началась моя литературная жизнь. Она шла как бы параллельно с моей другой жизнью — учёбой в техническом вузе, работой на заводе, женитьбой, зарабатыванием денег ради «услады быта» и прочим. Я вёл двойную жизнь: основную и любимую. Любимая всё более захватывала меня.

Пожалуй, более всего дал мне литературной практики замечательный украинский поэт Александр Стешенко. Боже, как он чувствовал слово! Как тонко отличал свежий, пусть ещё слабенький голос от, казалось бы, добротной сработанной, но,

увы, литературщины! Он лелеял эти тонкие стебельки редких талантов в своей литературной студии, которую я посещал. Позже мы со Стехом (так любя называли Стешенко) стали настоящими товарищами. Это был человек, не способный на конъюнктуру и предательство (явление не частое среди литературной братии).

По молодости, как многих провинциальных поэтов, меня увлекал ранний Вознесенский:

*Но неужто узнает ружьё,
где,
привязано нитью болезненной,
бьёшься ты в миллиметре от лезвия,
ахиллесово
сердце
моё?!*

Книг Андрея Вознесенского было не сыскать в продаже, но мне удавалось доставать виниловые диски с его стихами (и в его своеобразном прочтении), со стихами Евтушенко, Ахмадулиной, песнями Окуджавы... Тогда, в семидесятые, они были кумирами.

Становясь зреей, я как-то охладел к «стадионным поэтам» — демократам. Куда роднее мне стали стихи Николая Рубцова, Юрия Кузнецова, Николая Тряпкина, Валентина Сорокина... В их стихах я ощутил потаённую энергетику отчей (русской!) земли, её чистые живительные соки, её воплощённые мифы. Я понял, что значит, быть причастным к национальным тревогам, чаяниям, болям. Думаю, это осозна-

ние возникло у меня не без генетической помощи русского красноармейца Павла Баулина!

Мне горько, что пока ещё так и не оценён по достоинству гений Юрия Кузнецова. С его «Атомной сказкой», с его страшным своей правдой таким, например, восьмистишием:

*Я пил из черепа отца
За правду на земле,
За сказку русского лица
И верный путь во мгле.*

*Вставали солнце и луна
И чокались со мной.
И повторял я имена,
Забывшие землэй.*

Постигая Кузнецова, я постиг и смысл изречения Достоевского: «Правда дороже всего. Даже — России».

Но я отвлёкся.

В 1980 году увидел свет мой первый поэтический сборник «Родниковые дни», в последующем вышло ещё несколько книг. Я печатался в престижных литературных журналах Москвы и Киева, был принят в Союз писателей, возглавил Запорожское областное литературное объединение.

А потом началась перестройка и все последующие трагические события для теперь уже не существующей страны и её граждан. Честный и чистый красноармеец Павел Баулин не мог бы понять, как

нормальные люди могут так безропотно взирать на реализацию дьявольского плана врагов Отечества!? Как можно растаптывать собственные святыни, низвергать Устои и Традиции предков, подрубать исторические корни?!

И уже я, наречённый его именем, стал робко протестовать... В своих публицистических материалах я задавался элементарными вопросами: а стоит ли Украину — ядро православно-славянской цивилизации — вырывать из лона этой естественной и живительной среды обитания? а нужно ли в угоду политической конъюнктуре переписывать историю? и зачем родной для Украины русский язык (он же зародился именно здесь!) превращать в гуманитарного изгоя?

За эти наивные вопросы и поиск ответов на них в начале 90-х мне пришлось пережить откровенную травлю, в том числе и со стороны моментально переключившихся «коллег по перу». Нет, не всех, конечно, особенно рьяных. Гневные статьи «Він посягає на незалежність!» и доносы «куда следует», как водопад, низверглись на мою голову. После многократных «пропесочиваний» на писательских собраниях меня таки изгнали из Спілки письменників України буквально с расстрельной формулировкой — «антиконституционная деятельность, направленная на ликвидацию государственной независимости Украины».

«Братцы! — думал я. — Но это же не ваша компетенция ставить такой диагноз!» Ведь со стороны правоохранительных органов ко мне никаких претензий не было.

Сказать, что я не переживал отлучение от СП, значит, сказать неправду. Переживал. Ведь всю свою сознательную жизнь я варился в этом литературном котле! А тут ещё скоропостижно уходят в иной мир мои добрые старшие товарищи — поэты Лиходид, Стешенко...

В трудные времена меня поддержал Анатолий Васильевич Пивненко — взял на работу в газету «Наш город» («Суббота»), где он был главным редактором. Анатолий Пивненко одобрял все мои литературные начинания. Чуть ли не в каждый номер газеты я готовил обширные подборки стихотворений, рассказы и молодых авторов, и профи (в том числе и своих гонителей). И Пивненко давал всему этому зелёный свет. Особой популярностью пользовались придуманные мною поэтические чемпионаты на газетных страницах. Эти публикации вывели на высокую литературную орбиту ныне известных членов НСПУ Павла Вольвача, Анну Лупинос, Марину Брацило, Миколу Романа, Михайла Буряка, Веру Шмыгу... Да разве только их? Среди молодых запорожских поэтов 90-х мало кто ушёл в литературу без моего напутствия.

Тем и отводил душу. Можно было водкой... Но я таким вот образом.

...К тому времени я уже вкусил коварный плод политической работы. Выгоняя же из Спилки, письменники как бы невольно толкали меня на политическую стезю. Тем более, что, окунувшись с головой в политические баталии и тусовки, я почувствовал:

большинство запорожцев разделяют мои взгляды. Помню, на одной из встреч пришла записка со стихами, посвящёнными ... мне. Там были такие строки:

*Мы в тебя влюблялись по цитатам
Из больших ругательных статей.*

А «ругательных статей» в мой адрес, как я уже говорил, действительно хватало. Но это только подзадоривало, стимулировало к борьбе.

В тяжкую для страны годину красноармеец Павел Баулин оставил любимую и ушёл добровольцем на фронт. Спустя полвека он открыл мне, что и я должен чем-то пожертвовать ради Отчины, что сегодня (середина девяностых) моё предназначение, мой исторический долг в ином.

И я ушёл на фронт.

Я пробыл на передовой почти 20 лет, я и сейчас ещё не полностью демобилизованный. Где-то партизанила и моя поэзия. Но как бы независимо от меня. О минувшем двадцатилетии — лишь общими штрихами.

За это время я выигрывал (и проигрывал тоже) выборы и в областной совет, и в Верховный, и в городской... Что касается моей работы там, скажу так: моя совесть перед отцом и перед *тем* Павлом Баулиным чиста. Я сделал немало полезного и для нашего края, и для отдельных граждан (отчитаться, кто не знает, могу перед каждым своим избирателем, но это — не тема нынешнего откровения).

Перефразируя известную строку Маяковского, могу сказать:

Политика не накопила мне ни гривны.

А вот оценку каждому политику из тех, кто сегодня на слуху, могу дать объективную, ибо достаточно плотно с ними общался.

Я знаю, что говорю. Но, опять таки, это иная тема.

*...Пора возвращаться, самое время.
Ни рано, ни поздно приходит герой.
До срока рождается только святой...*

Там меня заменят новые призывники и добровольцы... А моя поэзия вышла из партизанской землянки, привела себя в порядок, и я понял — теперь до конца дней буду верен только ей.

Я возвращаюсь. Трудно. За эти годы многое изменилось, в том числе в организации писательского труда. Скверно, что серьёзные писатели, особенно поэты, брошены на произвол судьбы. Выход даже самой замечательной книги (а на издание надо ещё и средства найти!) не становится литературным явлением. В стогах и скирдах графоманского хлама тяжело отыскать ржавеющую иголочку таланта.

Поскольку предыдущий мой поэтический сборник выходил очень уж давненько и поскольку эта книга, наверное, моё последнее прижизненное издание (опа! как я ненавязчиво льщу самому себе: мол, меня будут издавать и после моей смерти), сюда

включены как новые стихотворения, так и опубликованные в прошлых книжках.

Чуткий читатель, полагаю, поймёт, где мои ранние, а где поздние стихи. Ибо в своей поэтической эволюции я шёл от метафоры и чувственного образа к символам, к нагнетанию в тексте определённого мною настроения. Я понял, чем сильнее это «нагнетание атмосферы» за счёт символов и аллегорий, тем менее *души* людские сопротивляются воздействию *слова* поэта. Души становятся податливее...

Не греховно ли такое манипулирование душами? Кто знает? Помнится, Юрий Кузнецов как-то написал о своих стихах: *«Моя поэзия — вопрос грешника. И за неё я отвечу не на земле»*. На что белгородский поэт Валерий Черкесов откликнулся глубочайшей по своей сути репликой: *«Русские святые всегда считали себя грешниками»*.

На этом и поставим точку.

Удачи всем в добрых помыслах, в добрых делах!

Май 2011

Павел Баулин

Сокровенное

Прозрачные лужицы,
матовый лёд,
Предзимье в наряде неброском.
Старинное солнце над миром встаёт,
над миром и нашим погостом.

Неясные тени парят от земли
сквозь день, набирающий силы.
И близкие завтрак уже принесли,
тоскуют у свежей могилы.

В пупырышках небо над ними дрожит.
и воздух — озябший и пресный.
И так оглушительно хочется жить,
что я попытаюсь воскреснуть.



Бомж

Как птиц, кольцевал просторы
и дали вязал узлом...

По пьяни — рай под забором,
по трезвости — нужен дом.

Все дали сошлись в квартире,
где стол нагой да кровать.
И стены, числом — четыре,
готовые четвертовать!

Колышется символ плена —
застойный, прокисший зной...
Как хищно пылают стены
убийственной белизной!

Хоть прячься от них в сортире,
когда, кирпичи дробя,
все стены, числом — четыре,
идут войной на тебя.

Таков он — финальный угол,
усердий пустых оплот!
Алмаз превратился в уголь,
В утробу вернулся плод.

Но вспыхнул на дне печали
мираж роковой межи:
В привольном, как мир, подвале
счастливые спят бомжи.

Два сердца

В траве вечерней остывают зори,
как угольки в серебряной золе,
как на ладонях — рваные мозоли,
когда — уставший — припаду к Земле.

Но в этот час блуждающего света,
забыв о сделках,
гонках,
болтовне,
в поту горючих рос
моя планета
прижмётся обессилено ко мне.

Не встану,
даже если и отважусь,
когда меня придавят с двух сторон
планеты нестерпимейшая тяжесть
и тягостно обрушившийся сон.

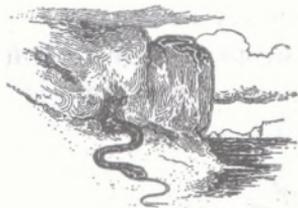
С Землёй сольюсь!
Ни горечи, ни ссадин.
И в тишине никто не различит,
чѐ это сердце, загнанное за́ день,
так страшно и мучительно стучит.

* * *

Отмерял за пробелом пробел,
уповая на лень и усталость.
Сорок лет, похмеляясь, трезвел,
Ни хрена впереди не осталось!

Пусто в поле,
как в песне пустой.
Каплет свет, поздний дождик лучится.
И меня не окликнут «Постой!».
И со мной ничего не случится.

Стают годы, как снега легки,
и узреет свернувший с тропинки:
Из глазниц моих бьют родники,
И сквозь грудь прорастают травинки.



* * *

В коммунальном каменном лесу,
где царят скандалы и пороки,
Горний ангел уронил слезу
на мои мятущиеся строки.

Потолка разверзлась высота,
перебранки стихли за стеною.
И взошла мгновенная звезда,
и лучи простёрла надо мною.

Мне открылись райские луга,
в плоть влилась немеркнущая сила.
И я вял,
что даже не слуга,
Я — невольник вещего светила,

что лучи простёрло надо мной,
по чьему всевышнему веленью
Я, как схиму, принял жребий свой —
рабскую покорность вдохновенью.



Ночная тропа

Ю.К.

Только ветер да ветер, да сучья.
Да в глаза ледяная крупа.
Но явился на выручку случай,
задышала под настом тропа.

Только ночь, только ночь, только вьюга.
Спотыкаясь о ветер и мрак,
по следам неизвестного друга
я старался подстраивать шаг.

Замогильно деревья стонали,
и терялся спасительный след.
Я подумал,
дойти мне едва ли...
И увидел за пустошью свет!

Слава Богу, спасение близко.
Но под ветром на сером снегу
мёртвым светом дрожала записка:
«Я устал. Я идти не могу».

И на этом тропа обрывалась.
И упал — обессиленный я.
И на этом тропа начиналась.
И судьба начиналась моя.

Поэт

Пусть говорят,
прошла моя пора,
царят иные баловни успеха...
Они — лишь искры моего костра,
мой отзвук, а точнее — просто эхо.

Мигнёт и сгинет адская черта
за листопадом. И в пространстве голом
так страшно — не бояться ни черта,
так горько — не делиться с ближним горем.

Устал ли,
умер ли? Да нет, не вышел срок.
Но век-вампир, инстинктами влекомый,
в живых оставил так немного строк!
Из сплетен сплётен мой венок терновый.



Накануне грядущей дороги

Не в зеркало гляжусь,
гляжу в тугую даль,
осеннюю, осеннюю, родную...
Но неба перламутр
и туч живая сталь
скрывают ипостась мою
иную.

Не в зеркало гляжусь,
пытаюсь рассмотреть
себя иного
 за чертой предела.
Но треть пути, оставшаяся треть
мой отвлекает взгляд,
моё волнует тело.

Оставшаяся треть – пленительный пробел
за лёгкой пеленой моих сомнений.
Не в зеркало гляжусь...
Сокрыт земной предел.

Решителен дурак,
стремителен злодей,
задумчив гений.

* * *

Не печалюсь о прежних заботах,
пусть поют свою песнь впопыхах:
Кулики на удельных болотах
и сверчки — на законных шестках.

Я — один. Я, как вихрь, неприкаян,
жизнь вмещающий в пару минут.
Мне в лицо ухмыляется Каин,
за спиной ошивается Брут.

И молвой, и глупцами судимый,
я прощаю предавших меня.
Тайны Господа исповедимы,
а моим не хватает огня.

Жизнь — потёмки, где правят потомки.
Горизонта безжалостен жгут...
— Ах, огня не хватает? —
Подонки
мои книги грядущие жгут.



Русский узел

Убога быль, а вымысел — жесток.
Какую цену взять за сей урок?
Где злая золотая середина?
Ум дорожает, как вчерашний снег,
дурь обрекли на лавры и успех,
Весёлая, кровавая година!

Иуде нынче слава и почёт,
жиреет проходимец-звездочёт,
горбатится оплёванный народ,
подлец пупок едва не надорвёт,
витийствуя от имени народа.
Кто лапы к горлу русскому простёр?
Кто сатану возводит на престол?
Кто нас лишил земли и небосвода?

Народу — кнут, Отечеству — хула.
Объедки с заграничного стола,
как манну, обещают демократы.
Державы нет — кровавые куски,
остры национальные клыки!
И еле брезжит судный час расплаты.

И только ветеран былой войны,
не веря ухищреньям сатаны,
на пиджаке потёртом носит орден.
А ночью бредит (кто тут виноват?):
«Товарищ Сталин, дайте автомат!»
О, да поможет нам Святой Георгий!

1991

Певчие птицы

Высыплю в кормушку старый хлеб да кашу.
Сорок воробьёв и пять синиц
посреди зимы опять докажут,
что на свете нет непевчих птиц.

Прилетят весною корифеи песни.
Ласковое солнце, лёгкие харчи...
Тишина стальная, как скорлупка, треснет,
счастью и смятенью внемли и молчи.

Соловьиной песней не дадут упиться:
будет звать кукушка, вороны греметь.
Что авторитеты?
Ведь любая птица,
если пожелает — начинает петь.

Ведь своим особым голосом гордится,
будь до хрипа низок он,
будь, как писк, высок,
Городская птица
и лесная птица,
потому и слышен каждый голосок.

...Гениев горластость —
в генах их породы.
Что же прочим делать?
Молкнуть? Падать ниц?..
Провожу невольно параллель с природой,
что на свете нет непевчих птиц.

Автопортрет, смываемый дождём

Этот старец — расплывчат и сдобен —
из реликтовой дали возник.
Он уже ни на что не способен.
Он уже, словно вечность, велик.

Пьян и жалок,
но высокомерен —
пожимает сутулым плечом.
И уже он ни в чём не уверен,
И уже не отступит ни в чём.

Но сквозь все размягчения мозга
и притворные мысли не в лад
вдруг хлестнёт,
будто молнии розгой,
Стариковский всевидящий взгляд!

Презираемый временем жлобства.
и толпой обрекаемый впрок
на посмешище и на юродство —
Лжепророк?
Или всё же — пророк!

... Так о ком я
на этих страницах
повествую под лепет дождя,
В просветлённых Господних зеницах
Отраженье своё находя?

* * *

Полусвет, полусвет, полутени.
Изнурённых обочин кусты.
На Голгофу — гнилые ступени.
На погосте — гнилые кресты.

Ягод краденых горечь-отрава,
сладость затхлая спален чужих,
чердаков ненадёжная слава,
о, трофеи скитаний моих!

Ни кола, ни двора, ни любимой,
ни желаний!
Лишь — смутная страсть
смутной жизни, а может быть — мнимой?
Можно б ниже,
да некуда пасть.

Сквозь убожества тлена и лени
не ударит огонь высоты.
...Восхожу на гнилые ступени,
обнимаю родные кресты.



Неуслышанные слова

Ваша злоба страшна на излёте!
Клокотала безумия ночь.
Я терпел, ибо знал –
вы поймёте:
Только я и смогу вам помочь.

Я терпел – вы прозреете, братья!
Но знобила смертельная грусть:
Неужели опять до распятия
доведём нашу общую Русь?!

Я терпел – вы прозреете скоро,
этот варварский смолкнет набат.
Вы в глазах моих тени укора
не найдёте
и молвите: «Брат!

Что за дьявол затмил наше зренье,
искусил на вражду и раздел?..»
А пока ваших гульбищ глумленье,
вашу блажь я смиренно терпел.

Высевалось кровавое семя,
корень розни буравил века...
Отвратим же беспамятства время!
– Вот вам, братья, на дружбу рука!

Отрезвитесь — Отчизну просвищем.
Но в пространстве зависла рука
без ответного жеста.

Лишь нищий
длань обжѐг мне плевком пятака.

Что ж, ищите иного мессию.
Но откроется в праведный час,
что страданья мои за Россию —
это, братья, страданья за вас.

В час молитвы, стыда и печали
Вы припомните дикие дни,
то, как гетману хищно кричали,
на меня указуя: «Распни!»

Но дарила распятыя вершина
мне пред смертью увидеть сперва:
Русь едина,
как правда едина.
И славянская верность жива.

1992



* * *

Когда я понял, что у вас в чести
злословие — постыдной славы завязь,
я помолился:

— Господи, прости
им эту злобу и глухую зависть.

Убого-нагло льстили мне в глаза
и комья грязи в спину мне швыряли.
Я обернулся:

— Вот моя слеза.
Омойтесь и очиститесь. —
Не вяли.

Я вас учил,
где свет лежит, где тьма.
Таланта нет — хоть душу не порочьте!
О, Господи!
Ни сердца, ни ума!
Лишь яд с клыков да жалобы по почте.

...Мой свежий шаг,
мой искренний полёт,
о, как вы ненавидели спесиво!
Бараньи головы!
Когда ж до вас дойдёт,
что я и был ваш светоч и Мессия.

Мастер

Удача! Слава! В чьей вы нынче власти?
Из чьих волшебных сотканы огней?
...И молвит, взяв своё творенье, мастер:
— А мой соперник всё-таки сильней.

Он тем сильней, что в нём прочнее связи
с простой землёй, с доро́гою своей,
он тем сильней, что свет его фантазий —
как воздух леса, как простор полей.

Я — весь предчувствие,
он — клочкотанье чувства.
Он ищет душу,
я ишу слова.
Я следую традициям искусства,
он внемлет жизни, сути естества.

Моя любовь — порыв,
его — услада.
Он смотрит вглубь,
я — ввысь, поверх голов.
Я — сада аромат, он — корни сада!
Он резок, даже крут, я не люблю углов.

Но оба мы — одно.
Наш общий Бог — работа.
Одолевая вечности черту,
на гребне он бесстрашного полёта,
я набираю боль и высоту.

Средневековый свет свечи

*Ибо надлежит быть и разномыслиям
между вами, дабы открылись
между вами искусные.
Ап. Павел. 1Кор. 11:19.*

Вот Икар — голубой мотылёк,
обгорев, упадет на камень.
Вот отступник — свечи фитилёк,
а вокруг — инквизиторский пламень.

Вольнодумцы сойдут со свечи,
времена бы без них обнищали.
Несогласие их прозвучит
прочим смертным благим обещаньем.

Как наивен, как дерзок восход!
И свеча будто бы умирает.
Кто-то Новый уходит в народ
с обещаньями близкого рая.

Кто-то Новый...
Хоть путь и не нов.
И награда — иным в назиданье:
снисходительность поздних веков
и теперешних — непониманье.

На костёр. На костёр! На костёр!
Нет страшней и любимей спектакля.

На массовку орёт режиссёр
с крестовины Святого распятыя.

На костёр. На костёр! На костёр!
Но отступник
сквозь красныя платья
вдруг горящие длани простёр,
и просыпался пепел проклятыя.

На костёр. На костёр! На костёр!
Но в святое своё воскресенье
он холодные длани простёр,
и развеялся иней прощенья.

...В наших жилах струятся года.
Города, города и руины,
и руины, и вновь города.
И на землю то пепел, то иней.

Вольнодумец, сходя со свечи,
своё время спасает, как прежде.
И в его несогласье звучит
и любовь, и печаль, и надежда.

...Злых веков наползает ледник,
близкий рай перенесен на позже.
И на чёрном костре еретик
не сгорает по милости Божьей.

Российское откровение

1.

Лавина ленивой травы,
Равнина великой реки.
И острого острова остов.
И небо над ширью погостов.

Дороги, дворняги, дворы.
Карманы не больше дыры.
И пеночки пенное пенье.
И небо над ширью забвенья.

Столицы, станицы, столы.
Хмелеют хмыри от хулы.
Ни славы, ни смысла, ни силы.
Забыты святые могилы.

2.

Чу! Стон от небес до земли:
«Виновны во всём москали!»
А кто за Россию речист,
Трезубец под дых — шовинист!

Где ж Сергей наш, где Пересвет?
Пьёт русский мужик триста лет.
И кто его, право, осудит?

К бессмертию шёл и к Христу,
И, может быть, был за версту.
Но русский поверил Иуде.

И небо, и землю везёт на хребте,
Забыв о бессмертии и о Христе,
Мужик в полудрёме беспечной.

А кто управляет надёжной уздой,
Стоят высоко под кормящей звездой
Пяти- ли, шести- ли конечной.

Великий мертвец не находит земли.
Из семени воли тираны взошли.
Чу, стон: «Виноваты во всём москали,
блажные Иваны-кацапы!»

Уездную бражку сосёт Пересвет.
Не сдаст демократ — безопасность не съест.
Пропито копьё, оприходован крест.
На горле батыевы лапы.

3.

Круги перестроек — грядущий аврал.
Скучает без Сталина лесоповал.
Усохшие щупальца устья
Великой реки захолустья!

Над нею портреты, как листья, летят.
Назад, как вперёд, устремляю свой взгляд.
Нет дома. Но светит подкова.

Глядите, месившие кровь на дерьме,
Как жутко встаёт над Россией во тьме
Святая пора Куликова...

Небесный поводырь

Отстегнув парашютные стропы,
так привольно идти над землёй.
Ничего, что небесные тропы
припорошены звёздной золой.

Ничего, что внушает тревогу
пустота под ногами. Маня,
золотится надежда,
что к Богу
каждый шаг приближает меня.

Бездна-синь — в полыньях и откосах,
хищны топи натравленных туч.
Вырву молнию, сделаю посох
и почувствую, как я могуч!

Пусть беснуется демонов свора,
вопиет: «Смерть Грядущему! Смерть!».
Я уверен,
откроется скоро
под ногами небесная твердь.



* * *

Хочу, чтоб жили, никогда не ссорясь,
добром и миром всякий спор верша,
Как две сестры —
моя душа и совесть,
Как две надежды —
совесть и душа.

Когда по жизни, взмыливая скорость,
мечусь я ради брэнного гроша,
Пронзи меня,
стремительная совесть,
Бессонной мукой
изведи, душа.

Когда же лётот лет обеспокоюсь,
рвусь к истине, страдаю и спеша,
Дай мужества мне,
доблестная совесть.
Дай веры,
вдохновенная душа.

Пусть навсегда
сквозь будни и парады,
сквозь сумрак похвальбы и клеветы
Блестает совесть хлётским светом правды,
Душа струится светом доброты.

Русский обычай

Я — камень!
Не драгоценный и даже не полу...
Слишком громоздкий и серый
для золотых оправ.

Я — камень!
Проросший в диком российском поле,
среди тысячелетних, нетронутых трав.

Целясь мне в сердце,
чужие ветры, как псы, визжали,
Но пулями сплюснутыми осыпались вокруг меня.
Я в ряд становился
со сварными стальными «ежами»,
чтоб не прошла здесь ни чёрная сила,
ни крупповская броня!

Молнии вешние
на плечах моих вили гнёзда.
Бил мне в грудь кипяток
страстных мартовских рек...
Камень рушиться может, но он никогда не гнётся.
Даст стихиям отпор,
даст укрытие путнику и ночлег.

О мудрости змеиной

Одолели тоска и скука.
Ухожу я!
Прощай, прости.
Ухмыльнулась одна гадюка:
— Дальше кладбища не уйти!

Нет дорогам моим предела!
Подколотная,
всё ты врёшь!
А гадюка своё шипела:
— Дальше кладбища не уйдёшь.

И тогда я распутал тропы,
большаки расстелил вдали.
Унесли меня крылья-стопы,
Крылья-вёрсты на край земли.

Мне пророчества — не помеха!
Были ветры,
снега мели.
И, бывало, что ради смеха
вспоминал я слова змеи.

А вернулся —
вошёл без стука
в дом родной. Поглядел кругом.
Ба! На кухне моей гадюка
угощается молоком!

Заискрилось янтарно око,
Завибрировал хвост змеи:
— Далеко ли гулял?
— Далёко!
Почитай на краю земли.

А ещё скажу тебе, дура,
Символ мудрости, коей нет,
Вещеванья твои — халтура,
Профанация, полный бред!

Заискрилось жемчужно око.
Усмехнулась гадюка:
— Что ж,
каждой мудрости зреть до срока,
слишком близко твоё «далёко».
Поумнеешь когда, поймёшь,
Дальше кладбища не уйдёшь!



Бег

Твёрже шаг,
твёрже шаг!
В спину лидера дышишь.
Каждой долей секунды
значителен прожитый век.
Твёрже шаг,
твёрже шаг!
Вот уже приближается финиш.
А за финишем что?
только времени бег.

...Вновь на линии старта
всё станет спокойней и строже.
Как в холодную воду,
в свой первый войду поворот.
Бег раскрутит жгуты
нескончаемых, жёстких дорожек,
превратив их в спираль
наших тяжких
и шатких высот.

Мы считаем круги,
так мучительно долго считаем,
с наслаждением странным
каждый смакуя вираж.
Мы пока что не лидеры
и поэтому не вызываем
на трибунах и в ложах
праздный ажиотаж.

Получив свою лепту
аплодисментов и сплетен,
Лидер сходит с дистанции,
шлейф состраданий за ним.
Лидер сходит с дистанции,
лик его светел,
как познавшего нечто,
недоступное остальным.

Нам его не понять.
Он теперь — не из нашей династии.
Так, как сорванный плод —
не родня
тем, что светят в саду.
Но клянусь, ради всех вас,
сошедших с дистанции,
Я уже никогда не сойду!

Твёрже шаг,
твёрже шаг!
В спину лидера дышишь.
Каждой долей секунды
значителен прожитый век!
Твёрже шаг,
твёрже шаг!
Мы уже пробежали и финиш.
Что нам финиш, когда
продолжается бег?

Что нам финиш, когда
продолжается бег...

Рядом — игрок

Андрею Ковтуну

Зал рукоплещет до изнеможенья.
Ну, кто сейчас представит хоть на миг,
что этот мастер перевоплощенья
четыре раза срезался во ВГИК?!

Его чуть-чуть качает от успеха,
но о себе он скажет напрямик:
Пока что — слесарь сборочного цеха,
а летом будет поступать во ВГИК.

Отнюдь не идиллической природы,
он всё-таки мечтает с давних пор
о том, что в их районный Дом культуры
заедет вдруг известный режиссёр.

Заедет накануне представленья,
отринув от своих больших забот.
А после,
не скрывая восхищенья,
он к нашему герою подойдёт.

Он скажет:
«Вот вам адрес. Приезжайте!
Да где же вы скрывались до сих пор?!»
И в местной прессе их рукопожатье
увековечит ловкий фотокор.

И будет всё:
афиши и реклама,
признание, встречи, вызовы на бис...
И весточка домой:
«Поздравьте, мама,
на фестивале в Канне — первый приз!»

...Зал рукоплещет до изнеможенья.
Ну, кто сейчас представит хоть на миг,
что этот мастер перевоплощенья
четыре раза срезался во ВГИК?!

Ещё не видно ни морщин, ни плечи.
Всё так же лих
и на́ слово остёр.
За ролью роль,
галёрка рукоплещет...

Да только вот не едет режиссёр.



Эго

Это — жизнь?
Без любви, без отваги;
Не в молитве — в сплошном скулеже
о брюхатом, напыщенном благе.
Эту жизнь не изменишь уже!

Царства злобы и зависти царства...
Это — Божье Творение?
Сгинь!
Воплощённые ложь и коварство —
ваша пошлая выдумка — жизнь.

Не изменишь тупой круговерти
искушений, предательств, пустот...
Лишь в одном —
в ожидании смерти
Есть надежда на светлый Исход.



Посещение

С чекушкой первача и пачкой «Примы»
я шёл по кладбищу,
когда услышал глас:
— Поэт! Мы не мертвы,
мы лишь незримы.
Мы не мертвы. Хоть ты не видишь нас.

Кресты белели, словно чьи-то кости,
обглоданные ветром и дождём.
— Поэт! Мы ждем тебя сегодня в гости,
когда заря уйдет за окоём.

Присев на холмик, я достал чекушку.
В оградках брагой пенилась сирень.
На каждый тост мне вторила кукушка,
и словно «Прима», тлел щедушный день.

Ушла заря.
Взирали звёзды чуждо,
как на меня обрушилось впотьмах
последнее прижизненное чувство —
парализующий все чувства —
Божий страх.

... И только дождь, чьи нити стали штопать
рассвета перламутровый атлас,
подвиг поэта на беззвучный шёпот:
— Вы не мертвы.
Ведь я — один из вас.

* * *

В лабиринтах ушедшего мига
я блуждал среди тьмы и преград.
И споткнулся,
И вымолвил: «Книга!»
И открыл я её наугад.

Лишь раскрылись две белых ладони,
свет неведомый робко возник.
Будто в старом, покинутом доме
пробудился столетний ночник.

Трепетали тугие страницы,
но казалось — трепещут крыла,
освещая забытые лица,
освящая пустые дела.

Плавно,
будто раздумчиво, книга
среди прошлых стихий поплыла —
из потёмок минувшего мига.
И меня за собой повела.

И случайные некто сменялись,
и дивились моей немоте.
И кричали они,
и смеялись,
исчезая навек в пустоте.

... Чьи вы,
рук долгожданные сети?
Чьи вы,
краденых губ маяки?

И за мною бегущие дети,
и глядящие вслед старики?

Сдобный увалень,
клоун-страдалец —
кто вы все? Из какой суеты?
Грохнул посохом сумрачный старец,
возопивши: «Да это же ты!»

И вздымалась его власяница,
и кружилась моя голова.
Трепетали живые страницы,
с них слетали, как слёзы, слова...

Вновь за книгой ступал я с опаской.
А в течение рассветной реки
проплывали убогие маски,
накладные носы, парики...

Полдень!
Пышного солнца коврига,
Неба огненного белизна.
Тут захлопнулась вещая книга.
Слишком ярко!
Ослепла она.

Мне друзья мимоходом кивали.
Был так суетен нынешний миг,
что расспрашивать будут едва ли
о печальных скитаньях моих

в лабиринтах ушедшего мига.

Бессмертный

Опали зарницы тревог,
премудрость изъедена молью.
Не будет подведен итог
под смутною радостью-болью.

За что прогневил он Творца,
Кто так наказал человека? —
Дороги не будет конца,
не будет скончания века.

Надежды кривые ростки,
желаний стоячие воды...
Протяжную песню тоски
внимают застывшие годы.



Тапёр

Щёлкают клавиши, белые клавиши,
белые зубы.

Алый рояль! Не преследуй меня!

Канули в Лету послевоенные горькие клубы,
те, где царил ты,
трофейным багрянцем маня.

Ворон с кровавым крылом
сеет каплями алые маки.

Ворон с кровавым крылом,
на мой крест не садись.

Красные ноты (с корнями!), как с грядки,
срывал я с бумаги.

Красные ноты болтались в руке,
словно красный редис.

Красный рояль! Календарь наш листаю без счёта.
Красные, красные, только лишь —
красные дни.

Красная, красная — скверная эта работа

Напрочь отбила умение жить в суете и в тени.

Позеленели, отхаркались медные трубы.

Сороконожки, мокрицы — чужая родня!

Щёлкают клавиши, белые клавиши —
белые зубы

Красной акулы,

навек приручившей меня.

За тонкою корочкой льда

Ах, эти короткие дни
такой долгосрочной зимы,
когда опасаемся мы
надолго остаться одни.

Природа — робка и смирна,
над нею мы властвуем всласть,
но видно, не меньшую власть
над нами имеет она.

День чёрен — и сумрачен дом,
декабрь наступает спеша.
И словно печалью душа,
окно зарешёчено льдом.

Но будто монетку в фонтан
природа на счастье метнёт,
за пасмурных месяцев гнёт
нам день ослепительный дан.

Пусть наши пути нележки,
природа нам опыт дала:
не может быть вечной тоски,
не может быть вечного зла.

У ночи в жестоком плену
и в стужу потерянных лет
мы знаем: воскреснет рассвет,
мы не позабудем весну.

...Природа робка и скромна,
над нею мы властвуем всласть.
Её благородство — не власть,
но им покоряет она.

Мы рубим, кромсаем, грызём,
Земли совершенствуя вид.
Но кто, натерпевшись обид,
простит нас, забыв обо всём?

Кто —
если на сердце темно —
мне тайный наносит визит
и так милосердно глядит
в моё ледяное окно?

И вскрикну:
— О, Господи, ты!
Вернулась, как прежде, сюда.
Сквозь тонкую корочку льда
твои проступают черты.

Как ночь, отступает беда.
И слёз не сдержать оттого,
что нас разделяет всего
лишь тонкая корочка льда.

Природа!.. робка...

* * *

Одиночества не приемлю,
просто грусти не вышел срок.
Вот акация чутко дремлет.
Разве с нею я одинок?

Вот взметнулась в притворном страхе
стая птиц из-под самых ног.
Заповедные, бойкие птахи,
разве с вами я одинок?

Мой щенок, ожидая ужин,
заливается, как звонок.
Значит, я хоть кому-то нужен
и поэтому не одинок.

(Посмотри, как вечерние волны
запоздалый швыряют челнок.
Он — стремительный и проворный —
разве скажешь, что одинок?)

... Среди запахов, щебета, писка
шаг неспешен мой,
путь далёк...
Фотографии, старые письма...
Разве с ними я одинок?

* * *

Проснусь в тревоге предрассветной
на грани тьмы и полутьмы
с подспудной мыслью, неприметной:
Кто я? Кто мы?

Под слабой властью сновиденья,
где всё всерьёз и не всерьёз,
так органично единенье
слепой реальности
и грёз.

Доступно всё, до ошущенья!
И горько из-за мелочей.
Но нет обид, есть миг прощенья.
Есть робкий шёпот —
нет речей.

Струятся мысли осторожно,
не погружаясь в спешный быт.
Так должно, Боже мой, так должно,
но никогда не может быть!

Как замысел и воплощенье,
так побужденья и дела
находят миг на единенье,
когда встречаем пробужденье,

как старт,
как новое рожденье.

И мглу сменяет полумгла.

* * *

Досадно за прожитый день,
за пустошь да пни вместо сада.
Обида — как на душу тень.
Но ссадиной ноет досада.

Ты внешне спокоен?
О, нет.
Возник — испытанием воли —
не резкий —
мучительный свет
не острой —
хронической боли.

Досадно за прожитый год.
И вновь, на кого-то пеняя,
досадуешь — время идёт,
всё дальше тебя обгоняя.

Поклажа твоя нелегка.
Дорогу осилить непросто.
Как стайеру сил для рывка,
тебе не хватает упорства.

... Мягка паутинная лень.
И сердце стучит не надсадно.
Досадно за прожитый день?

— С чего б это было досадно?

Расплата

Ледяные костры тоски,
Суховей скупой печали,
Увядающие родники,
не казнили меня, молчали.

Небо немо сухой грозой,
Ночь кольнула грязной слезой.
Но — ни звука в слепой пустыне!

Лишь пригрезился страшный хрип —
Стая птиц или стая рыб
задыхалась в рассветной тине.

О, как хищно взбирался мох
на костра ледяное тело!
Я-то знаю, за что оглох.
Но за что Земля онемела?



Ошибка

Посмотришь, как солнце садится,
как страшно бледнеет заря,
как вянет на дереве птица,
и горестно выдохнешь:
— Зря!

Так медленно катится ночи
серебряное колесо.
Так спешно смыкаются очи,
и шёпот срывается:
— Всё.

И траурных лент позолота
летит в безымянную даль.
И страшно невидимый кто-то
вздыхает:
— Мне тяжело... Мне жаль...



Крылья

— Эти крылья мои, прочь с дороги! —
он вскричал. Но погасла свеча.
И услышал он голос нестрогий:
«Эти крылья — с чужого плеча».

— Ах, с чужого... — сказал он устало.
Взял топор, поплевал на восток.
Жадно крылья рубил, но упало
в землю пёрышко — вышел росток.

Стебля два — на две стороны света —
заострялись, белели, росли...

Человек изумился:

— Так это —
крылья! — выдернул их из земли.

— Эти крылья мои по закону! —
он вскричал. Но погасла свеча.
И услышал он голос знакомый:
«Эти крылья — с чужого плеча».

— Как с чужого?

Да я же их первый...

«Не твои они», — был приговор.
Крылья сжёг. Правда, несколько перьев
он зачем-то хранит до сих пор.

Агасфер

Старик с мешком за плечами
(в мешке сухари и вино)
дорогу нужды и печали
мотает на веретено.

В скорбном краю безголосья
сухарь раскрошит, и вот
до неба встают колосья,
народ с пережору мрёт

Брызнет вином из фляги
в краю, не выдавшем смут,
сшибаются бури и флаги,
кровавые реки текут.

Жирные, грязные нити
мотает на веретено.
Нам продаёт — тките
для саванов полотно.



Демоническое

Мертва река, но камень жив.
Гноится солнечный нарыв
на потной шкуре неба.

Страшны поля, но жив смутьян —
горелый, скрученный бурьян.
Земля не помнит хлеба.

Блудница-карлица бредёт.
Безумен взгляд. Убитый плод
гниёт в смердящем чреве.

Земных страстей един итог:
Погибель... Да поможет Бог!
Но Бог во гневе.



Превращение

Всё прахом — и любовь, и грёзы.
Есть кров, да холоден очаг.
Всё меньше чувств,
всё больше позы
в твоих делах, в твоих речах.

Заёмных шуточек бряцанье,
искусных слёзок мишура.
И патетичность восклицанья:
Ах, наша жизнь — игра, игра!

И отступленье — хоть не сразу —
в свой листопад (по зеленым!)
к отрепетированным фразам,
к отрежиссированным дням.

Но в жизни
и на сцене мглистой
досаду вызовет, не боль,
претенциозного артиста
неподдающаяся роль!

Не скажешь ты, что карты биты,
не выдашь горечи и зла.
Но чёрным — с умыслом — покрыты
в твоей квартире зеркала.

Когда ж отчаяньем влекомый,
защитный креп срываешь ты,
Кривляка злой и незнакомый
глядит из мутной пустоты.

Судьба

С жизнью — бесконечные ничьи:
сделки, компромиссы, договоры...
Реки превращаются в ручьи,
в холмики — заснеженные горы.

Всех надежд не продано ещё.
Куплены не все услады быта...
Нет уже ни горок, ни ручьёв,
лишь пустыня,
страшная, как бритва.

Спящий под надёжною плитой,
горько ль слышать из своей чужбины?
Снова реки полнятся водой,
Снова к небу тянутся вершины!



Речка родины

Наркотический запах болота,
ностальгический бред камыша.
Облучённых лягушек дремота,
облачённая в траур душа.

...Нагнетающий духа томленьё
причитанием: «Не умирай!»,
лунный плач подгонял устремленьё
в этот отчий промышленный рай.

Но не скоры мои километры.
«Речка, миленькая, подожди!»
Гонят стронций жестокие ветры,
и кислотные хлещут дожди.

Что за помесь затмений и фальши?
Бьют друзья, обнимают враги.
Как же дальше мне жить?
Что же дальше?
Я приехал к тебе. Помоги!

Для глотка золотого полёта
к прежним струям рванулась душа...

Наркотический запах болота!
Ностальгический бред камыша!

Завет

Пускай мой соперник горяч и умён,
и спор проиграешь такому, как он.
Я всё-таки в схватку уйду с головой,
последнее слово, да будет за мной!

Пусть дело, которому жизнь посвятил,
потребует всех моих мыслей и сил.
Дорога проверит меня крутизной.
Но знаю — последнее слово за мной.

Коварная сплетня — злой зависти плод —
любимую вдруг у меня украдёт.
Всё ж не усомнюсь я в развязке иной,
чем та, где последнее слово за мной.

А если в угоду прискорбному дню
к лукавым врагам попаду в западню,
забьюсь, точно птица, в сети роковой,
но слово последнее будет за мной.

Случится, что свалит внезапный недуг,
когда не поможет ни врач и ни друг.
Оно — неподвластное смерти самой —
последнее слово вновь будет за мной!

Со мною, дожившим до поздних седин,
поспорит когда-то мой будущий сын.
В сужденьях поспешных он так уязвим...
Но слово последнее будет за ним.

Технологические стихи

Садовнику лучшей наградой —
увидеть, как в избранный срок
горячая гроздь винограда
отдаст аромат свой и сок.

По жёлобу, словно по руслу,
богатому лету в зачёт
весёлое, сладкое сусло
в дубовые бочки течёт.

А в бочках огромных — движение,
шипящая пена видна.

Брожение — ещё не рождение,
а только зачатие вина.

В подвале, окуренном серой,
всё зреет и зреет вино,
в объятиях сумерек серых,
сухих и прохладных, оно.

Чистилище фильтров готово,
прозрачней вино и нежней.

Но в бочках стоять ему снова
до выдержанности своей.

Как плод многолетний созрело
вино, что выносят на суд.

О, хлопотный труд винодела,
искусный и благостный труд!

Но чувствуя горечь и жалость,
на пьяный гляжу балаган,
где льётся вино, унижаясь!

В дрожащий гранёный стакан.

Последний алхимик

Реторты, реторты, реторты,
в них ночь закипает уже.
Окончены споры и торги,
Вердикт: он — учёный,
но — лже...

И всё же в ретортах громадных
бушует великая ночь.
Хохочут в огне саламандры.
Подите, насмешницы, прочь!

Как дьяволы стонут реторты,
хрипят саламандры не зря.
Вот-вот из полночной аорты
священная хлынет заря.

Помножены пламень на пламень
в суровой и скорбной печи,
где зримо колышется камень
уже философский почти!

Пмножены колбы на тигли,
и тьма — на пропащую тьму.
Вот-вот — и удастся постигнуть
смысл жизни и смерти ему.

Вот-вот, одолея задачу,
отвергнутый, злой бородач
окупит своею удачей
века и века неудач.

Родное

Среди неопознанных станций
твой поезд внезапно замрёт:
И память прошепчет: останься.
Заботы прикажут: вперёд!

Стоянка минуту, не боле,
но дрогнут сирени кусты,
и сердце сожмётся от боли,
и память прошепчет: прости.

Какие сверхмёртвые петли
беспечно готовит судьба?
Как филин
в полуденном пекле
слепая — слезится — изба.

Не сдвинут старинные кружки
сыны позаброшенных мест.
Над куполом ветхой церквушки
гнилушками светится крест.

И полночь,
и полдень наполнит
душой осязаемый свет.
И хочется что-то припомнить,
да времени,
времени нет!

Минута струится устало.
Вернусь!
И почувствуешь — ложь.
Ведь этот святой полустанок
захочешь —
и то не найдёшь.

Где вокруг векового сада
ограда из ветра и дней.
Церквушка, кресты и — ограда.
Что было? Что скрылось за ней?

На всё это
лягут изломом
двух рельсов тугие рубцы
И скроются за окоёмом,
Буквально — как в воду концы.



Недельный отпуск

Берёз полночное сиянье,
и тяжесть ртутная росы.
И наше новое свиданье,
Россия средней полосы.

Взметни же сосны голубые
над скорбью ивовой лозы.
Мы целый век в разлуке были,
Россия средней полосы.

Не хмурь ореховые брови,
не прячь медлительной красы.
Здесь — отчий кров,
я — кровь от крови
России средней полосы!

В края,
что мне даруют милость,
своё дыханье донеси —
моей любви неистребимость —
Россия средней полосы.

Вослед за близким расставаньем,
Россия средней полосы,
возникни не воспоминаньем,
В душе — берёзовым сияньем,
На сердце — тяжестью росы.

Встреча осени в деревне Пригорье

Маме

То перелески, то балочки,
дальних берёз светляки.
Крыши, как белые бабочки,
замерли возле реки.

Теней полуденных карлики
путаются у ног.
Луг,
как бильярдные шарики,
катит за стогом стог.

Скорый проносится споро,
окна мелькают, как дни.
Словно огни семафора
светят лобастые пни.

Тёмен ручей затаённый,
птиц предотлётный урок...
Из паутинок сплетённый
к осени робкий мосток.

Север прерывисто дышит.
Вот и октябрь — старина.
Изморозью на крыши
ляжет его седина.

Новогоднее воспоминание

Полумрак. Тишина.
Пахнет хвоей в квартире.
В целом мире мы с мамой одни.
А на ёлочке нашей волшебно светили
золотые шары,
золотые огни.

Мама так молода,
мама так мной любима!
Приносил я ей зеркальце —
ну-ка взгляни.
А по улице нашей мчались бешено мимо
золотые лета,
золотые огни.

Пурпур стылой зари
красил блёклые дали.
Полыхали морозом январские дни.
А на ёлочке нашей не замерзали
золотые мои,
золотые огни.

... Свечи всё ж догорали,
а иглы желтели.
И лица дорогого тускнели черты.
На ладонях зимы — в круговерти метели —
золотые огни,
золотые мечты.

Дворник мёрзлые ёлки кропил из канистры.
Мама взгляд
и меня от костра отвела.
Там из чёрных ветвей
с треском сыпались искры —
золотые огни,
голубая зола.



Ночное облачко

Предутренних предметов невесомость.
Возникло облачко хрустальное,
и вот
оно, как сон,
а может быть, как совесть,
над спящими кварталами плывёт.

Ещё в садах дремало сладко лето,
ночные не ослепли фонари.
Ещё бесшумных тополей ракеты
не стартовали в синеву зари.

Заботы спали
и дела большие,
и мелкие — не начали возню.
Забылась зависть — где-то на отшибе,
и тихо злоба сохла на корню.

Будильники
и тех сморила нега,
окраину проспали петухи.
Лишь облачко в себя вбирало немо
тьму, будто наши
тайные грехи.

Беспечно спали взрослые,
как дети,
касалась радость сердца и лица.

И стало облачно
вначале — цвета меди,
а после — цвета бурого свинца.

Рождался день желанный и кипучий.
И мы, вдыхая сладостный озон,
недобрым взглядом провожали тучу
Зловещую,
за дальний горизонт.

К успеху, что сулили все приметы,
несла нас лихо юная Земля.
И словно серебристые ракеты —
летели в бездну неба тополя.

Но вновь когда
ночная невесомость
нас в лёгкий сад забвений позовёт,
над миром, словно сон,
а может — совесть,
то облачко хрустально проплывёт.



* * *

Как фантастичен этот снег,
фосфоресцирующий лунно,
и призраков неспешный бег,
и туч, вздыхающих бесшумно.

Как фантастичен гор полёт
над бездной полночи неяркой,
и водянистый небосвод
с хвостатой звёздочкой-пиявкой.

И так присасывает взор
её напрягшееся тельце,
что разрывается простор
и поступь Бога чует сердце.



* * *

А на лунной дорожке ухабы
диких волн, изнурённых тоской.
Но ползут исполинские крабы
по змее золотистой, морской.

Я и шага не сделал бы там!
Объясните?
Полжизни отдам.

Где же волны, ухабы, подножки?
Как всегда, отыскался знаток,
позвонил. И морскую дорожку
исполинский трамбует каток.

Я и шага не сделал бы там!
Объясните?
Полжизни отдам.

Лих трамбовщик. Беспечны дельфины.
В бранный берег правее меня
зло вонзилась чёрнёная финка —
исполинская чья-то клешня.

И колышется мёртвая гладь.
Ни пройти. Ни понять.

Чужая планета

Я ступлю на чужую планету
и заржавленной двинусь тропой.
И увижу холодную Лету,
и Харон мне помашет рукой.

Я пройду вдоль зловещей равнины,
я взберусь на крутое плато...
Только пепел вокруг
да руины,
из которых не выйдет никто.

Хоть травинку б найти,
хоть росточек!
Звук услышать — и сердце замрёт.
Тишь — как бездна,
в которой стрекочет
счётчик Гейгера, как пулемёт.

Эти остовы труб на пригорке,
эта мёртвая водная стынь
мне напомнят неожиданно и горько
наш Освенцим
и нашу Хатынь.

Кровью звёзд бьют вселенские раны.
Нет начала
и нет им конца.

Время полураспада урана.
Время полугосподства свинца.

Скрыт в течении траурной Леты,
прошлой жизни закон непростой.
Я покину чужую планету,
и планете останется той

до скончания дней
нелюдимой
остывать под багровой золой...

Кем она называлась любимой?
И кому приходилась Землёй?



Летающий тополь

Жирный тополь, вспотевшие листья,
поджидает меня за углом.

Над корнями земля шевелится.

Улыбается тополь:

— Идём?

Разомлевшие свежие корни
он выдёргивает из земли...

— Да она ж тебя держит и кормит!

Что ж ты делаешь?! —

— Ладно, пошли.

Ночь струится в размывах и вспышках,
необъятная, словно испуг.

Грузный тополь, страдая одышкой,
на корнях семенит, как паук.

Вот и круча над мглою безвестной.

Обратясь в голубую струю,

тополь взмыл над отпрянувшей бездной.

Я остался стоять на краю.

Он кружил, как нечистая сила,

он парил, как младенца душа.

И кровинки семян относило

в дебри клевера и спорыша.

— Долго ль будешь над бездной обрыва
ты за кругом накручивать круг?..—
Семена низвергались. Так рыба
вытрясает из брюха икру.

Утро брызнуло розовым зельем.
В первых каплях суровой зари
тополь взмыленный врезался в землю,
вспыхнул магнием
и воспарил.

.

Новый тополь, вспотевшие листья...
В листьях призраком прячется гром.
Над корнями земля шевелится...
— Для чего покидаешь свой дом?

— Сделать то, что не выпало другу, —
Там, где он задыхался паря,
колдовским поднимаются кругом
нелетающие тополя.



Ночь падающих звёзд

Над Красной книгою ночные проплывали журавли —
шесть крыл

люминесцирующих
разгребали вязкий смог.

То ль три слезы,
сверкнув серебряно, растаяли вдали,
то ль три звезды
на скользком небе удержаться не смогли,
то ль три колечка
соскользнули с тростниковых птичьих ног?..

Ночь падающих звёзд.



Поверженный идол

Снега сойдут, и снова прорастёт
из недр земли сей каменный живот
беременной издревле скифской бабы.

И если дрожь пройдёт по животу,
его обходит путник за версту
и землепашцы пятаются, как крабы.

Она лежит на три вершка в земле,
пот и роса смешались на челе.
Взор устремлён в небес живую стужу.

И дрожь её неистовая бьёт.
Весна — выиграла каменная плоть,
что двадцать пять веков не знала мужа.

Не ветры воют с четырёх сторон
из каменной утробы слышен стон.
И двадцать пять столетий эхо длится.

И дурочка в слезах поклоны бьёт.
И цепенеет умный небосвод
от ужаса, что камень разродится.

Калмыцкие степи

Подтаявшая ночь!
Отдай свои владенья
напористому дню.
И с неба, песня, хлынь!
И царствуют в степях
два маленьких растенья —
Тюльпаны и полынь,
тюльпаны и полынь.

Природа ль так мудра?
А может, совпадение?
Цветами обожгись,
в густой траве остынь.
Как радость и печаль —
два маленьких растенья,
Два полюса степей —
тюльпаны и полынь.

Цени огонь любви,
согрейся словом друга.
Но как тепло ценить,
не испытавши стынь?
И нет пути к весне,
как через пламя вьюги, —
Тюльпаны и полынь,
тюльпаны и полынь.

Когда навстречу нам
несли цветы калмычки —
торжественный рубин,
таинственный агат —
благоуханье нас
пьянило с непривычки.
Тюльпаны и полынь,
как сладок аромат!

А как прощались мы,
я помню и поныне:
тюльпановый букет
поник и невпопад
ударил мне в лицо
дыханием полыни.
Тюльпаны и полынь,
как горек аромат!

Природа ль так мудра?
А может, совпадение?
Цветами обожгись,
в густой траве остынь.
Как радость и печаль —
два маленьких растенья,
Два полюса степей —
тюльпаны и полынь.

1978

дыханье женщины таинственно
глаза
глаза озябшие
дневная краска смыта
с ресниц
бессонницы туман

в углу сиреневая тень фортепиано
пиано ночь
пиано жизнь
в печальных пальцах
дрожит хрустящий огонёк спасенья
дрожит хрустящий одинокий огонёк

затяжка сладкая до горечи души
затяжка горькая до сладости усталой
дрожит хрустящий огонёк
во тьме рассветной



Микрорайон

ночные шампиньоны и маслята
из липкого и потного бетона
стекают по осклизлой горке тьмы
в дырявую соломенную шляпу
промышленного астматического утра

как мутная роса
стекают стёкла
с боков панельных ноздреватых
жилых грибов

стекают мрачные костлявые антенны
в промышленное зеленеющее небо

по певчим трубам инженерных служб
из незакрытого домохозяйкой крана
бесмысленно стекает миг за мигом
миг за мигом

горячий красный изнурительнейший сон
горячая тревога пробужденья

в промышленно-рассветных облаках
парит невидимый болезненный пришелец

Последняя встреча

белые блики больничного морга
на бледно-сиреневом лице врача
на бедном небесном моём свитерке
на яркой щетине отца

ни с чем не сравнимый
хваткий и хлипкий
холод целуемой кожи
но самое жуткое
в хрусте сочной глубокой бумаги
у отца под больничной рубашкой
Боже
там нет ничего

отец
трудно ли быть игроком
анатомического театра
где смены и смены актёров
под бедными бликами белых огней

отец
так спокойно лицо твоё
но так скрючены серые пальцы
цепляющиеся
скребущие до срыва ногтей
безобразную дикую дверь
за которой остались навеки
даже эти убогие белые блики

отец не внушай мне
что еле заметно вздымается
под студёной рубахой
бумажная грудь

* * *

платонический месяц декабрь

скисший сироп утомлённого снега
русла веток на старческом лице небес
жирные крылья бесполой птицы-печали

да базарная слякоть
омертвевших желаний

* * *

...я лежу в колыбели
отец вкалывает на заводе
дедушка сходит в гроб

сын лежит в колыбели
я вкалываю на заводе
отец сходит в гроб

внук лежит в колыбели
сын вкалывает на заводе

о бешеный конвейер-ненасытец!

* * *

Звучанье горечи сродни дыханью скрипки
в тиши страдания, когда гнетёт вина.
Простите мне все прошлые ошибки:
— Прощаю, — отзывается струна.

Струна предчувствия, звучи светло и нежно,
спасай надеждой душу вновь и вновь.
Ведь боль анестезирует надежда,
но исцеляет всё-таки любовь.

И чем пронзительнее горечи звучанье,
тем безотчётнее влечение любви.
И мимолётной встречи неслучайность
толчками отзывается в крови.

Всю накипь туч шальных,
всю тяжесть злых туманов
заветный дождь с души и с неба смыл.
Боль разочарований и обманов
хоть не затихла — потеряла смысл.

Не прошлой памятью,
не будущим гореньем
Любовь живёт во слаwie своё
теперешним — единственно — мгновеньем,
Всё прочее вне логики её.

Церковные голуби

Синева и латунь,
серебро и лазурь,
серебро и лазурь восхода.
Стая призрачных лун,
стая солнечных бурь —
Над старушкой, стоящей у входа.

Хлебных крошек шепоть,
серых зёрнышек горсть
у святой побирушки в корзинке.
Обретающий плоть
ангел — прощенный гость.
Куполов золотые слезинки.

Стай Небесных приют,
лепет ангельских крыл...
Божьи души, томимые плотью,
хлеб, воркуя, клюют,
И небесная пыль
серебрит на старухе лохмотья.



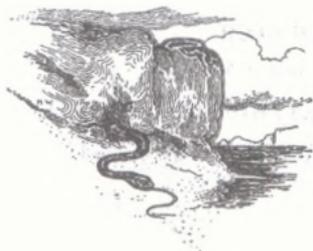
Романс

З.К.

Этот ветер угрюмый и старый
под кустами жасмина притих.
Этот вечер цыганской гитары,
пряных вздохов
и звуков златых.

И возникнут, как смысл между строчек,
как пречистая плоть меж теней:
вечный терем, бессмертные очи,
тройка верная, ночи темней.

И красавицы узкую руку
пусть твои обогреют уста.
Сменит робость привычку и скуку
даже там, где любовь не чиста.



Зов

Ни водка, ни вой, ни молитва —
ничто мне не сможет помочь.
Смеётся горящая бритва.
Царит ваша брачная ночь!

Виденья, виденья и звуки
мне Бог посылает, скорбя:
чужие, поспешные руки
и губы ласкают тебя.

Волос твоих траурный ветер
избраннику веет в лицо.
Навеки, навеки, навеки —
законных объятий кольцо.

Я вспять переламывал реки.
Я дыбил пучины морей.
Но здесь я — бессилён. Навеки
уже ты не будешь моей!

Царит ваше брачное ложе,
кричит вашей близости дрожь.
Зачем Ты, за что же Ты, Боже!
Мне видеть всё это даёшь?!

Прервав мою вечную стужу,
не Ты ль мне дозволил, Господь,
любить этой женщины душу,
познать этой женщины плоть.

Наивные грёзы! Убиты.
Надёжен супружеский кров!
На ласковом лезвии бритвы —
голодная кровь.

Твоё письмо

Чужая любовь и преграда
в две смерти,
в три жизни длиной.
В постылой глуши звездопада
тебя не забуду, родной.

Чужая судьба, как твердыня,
усталой гнетёт пеленой.
От самых истоков доньше
я помню тебя, мой родной.

...На гребне бездонных скитаний
я хлыну на берег земной
стихией надежд и страданий,
вовсеки твоею, родной.

И в шелесте млечных ладоней
застыну упавшей волной.
И взгляда не будет бездомней,
и ты отшатнёшься, родной.



Знамение

Осень камениста и багрова,
равнодушна дождевая даль.
Стайка букв спешила слиться в слово,
в слово ненадёжное: п е ч а л ь.

Осень, словно нищенка, убога.
Тучи как могильные холмы.
Теплилась случайная дорога,
на которой повстречались мы.

Бог взирал на нас осенним взглядом.
Чьи-то вздохи тяжелили высь.
Лишь мгновенье мы стояли рядом.
Горько улыбнулись. Разошлись.

Мгла. Дорога,
стылая, седая.
Серый свет и чёрная вода.
— Господи! Куда же я, куда я?
Господи! Ведь это навсегда.

Как нелепо всё в нелепом мире!
Что там брезжит?
— Ничего. Остынь.
— Стайка букв. Их, кажется, четыре.
Имя!

Вспышка молнии. Аминь.

* * *

Судьбы золотые отроги
струились за тот окоём,
где ждал меня город Пологи
ознобным, обветренным днём.

Густой аромат неюта
в гостинице славно царил.
Но льстил я, смущаясь, кому-то,
что город приветлив и мил.

Томил одиночеством вечер.
А в голом проёме окна
позвякивал звёздами ветер,
морозно дымилась луна.

Жемчужинка позднего звука
дробилась, о чём-то скорбя.
И понял я: это — разлука.
И так не хватает тебя!

Но сватал надежду пустую
мой глухонемой телефон...
О, Господи, как я тоскую!
О, Господи, как я влюблён!

Три дня

Любимая, вспомни, да было ли это?!
Опушка лесная, притихший ручей,
притихшее лето,
прощальное лето,
внезапная смелость заветных речей.

Нас ночь ослепляла своим вдохновеньем.
Нам в будущность нашу так верилось днём.
Я чувствовал счастье и в прикосновеньи,
и взгляде твоём,
и в дыханье твоём.

Да было ли это?!
Восторг пробужденья,
и снова — опушка лесная, и ты
так славно спала, что боялись мгновенья
скользнуть, не запомнив родные черты.

Но блёкнул костёр,
и луна отцветала.
И плакал рассвет на плече у меня.
Прощание наше
и наше начало
сплетались в преддверье четвёртого дня.

О, дней мимолётность —
страничек беспечных!
Их ветер листает,
их время сечёт.

Так что ж это было:
три дня или вечность?
И жизни моей это ль новый отсчёт?

... А нас разлучает разбег автострады,
нас город разводит штыками проблем.
Царит вездесущая фраза: «Так надо!».
И спит беспробудное слово «Зачем?».

А что остаётся?
Недолгие встречи
и тот исчезающий пыл...
Опушка лесная, заветные речи...
Да было ли это?
Забыл.



Учитель

Я вывел тебя из пустыни,
где ты прозябала в любви.

Сказал:

— Вот оазис. Отныне
его трепетаньем живи.

Менялись придворные лица,
и ты восходила на трон.
Способная! Сделалась жрицей
фантазий, берущих в полон.

На поприще новой богини
собой этот мир освящай!
Я вывел тебя из пустыни.
Я больше не нужен. Прощай.



Искушение

Фальшивого неба квадрат.

Устало-смиренна округа.

– Кого дожидаяешься, брат?

– Жду друга.

Миражно трепещет закат.

Отмеряны дали и сроки.

– Напрасно надеешься, брат.

Уж вечность, как мы одиноки.

– Не верю. Лети себе прочь,

Наёмница адова круга!

– Пойдём. Подбирается ночь.

– Я жду, тебе сказано, друга!

– Не стоит упорствовать, брат.

– Оставь меня, дьявол, в покое!

– Ну, что же. Ты сам виноват...

Земля. Одиночество. Двое.



Грехопаденье

— Я вижу ангелов,
я вижу Божий храм, —
шептала ты, и по твоим щекам
святые слёзы щедро серебрились.

То Божья благодать лилась рекой.
Блестала ты полночной чистотой.
Но шёпот злой вешал: они приснились.

— Я вижу дьявола! —
ты хохотала всласть.
В очах пылала ледяная страсть.
Алкала плоть покорности и власти.

Я отшатнулся — разве это ты?
Страсть исказила прежние черты.
И смрад витал неутолённой страсти.

— Я зрю любовника
и я его хочу, —
хрипела ты. И горбило свечу.
Неистово греховное прозреньё!

И медлил я, чтобы к тебе припасть,
я колебался — не от Бога страсть.
В знаменье крестном — обретём спасенье!

Но слабость духа проявив при том,
не стал тебя я осенять крестом.

И видел ангелов...

Свидание

Слетала тень густого одеяла,
манила белизной живая тьма.
И в такт движеньям нашим ты шептала:
«Ой, мамочка!.. Ой, мамочка!.. Ой, ма!..»

Дрожали страстью
губы, груди, руки,
пульсировали бёдра и живот.
И стоны — перед гребнем сладкой муки,
истошно-иступлённые.

И вот...

Какого вещества какая плазма
какой библейской жалила змеёй,
когда тела в конвульсиях оргазма
клубились между небом и землёй?!

...Когда очнулись
среди жизни прежней,
сварили кофе на глотке росы,
была такой ты трогательно нежной!
А я смотрел украдкой на часы.

— Мы встретимся? —
Ты улыбнулась вяло.
Постылых дел надвинулась зима.
Но, Господи! Как сладко ты стонала:
«Ой, мамочка!.. Ой, мамочка!.. Ой, ма!..»

Малороссийская глубинка

Страждущим на тайную потребу,
разливавшим водку под венец
виделось, как проплывал по небу
хмурый малосольный огурец.

Женщине, самой себе упорно
теребящей взбухший бугорок,
показал фаллические формы
в небе украинский огірок.

Мертвецам,
схороненным под снегом,
коим опостылел отчий край,
фалло-огурец предстал ковчегом,
души транспортирующим в рай.

А уездный гений, постмодерна,
мастер вышиванок и кашпо,
увидал парящую «Мадеру»,
что давно исчезла из сельпо.

Кто-то видел кукиш,
кто-то деву,
тёшу, а под нею — помело.
Старший по секретному отделу
в Киев доложил об НЛО.

Лишь младенец
бледный и болезный,
измождённый, словно суховей,
С ужасом взирал пустую бездну
Над золотой головкою своей.

* * *

Женщину от века и донныне
просвещённый (и не очень) люд
Величает трепетно — богиней
за искусный лицедейский труд.

Но таится в генах каждой дамы
всей цивилизации земной
Факт о том,
что славному Адаму
Ева изменяла с Сатаной!

В том — исток любой семейной драмы.
Славный муж, на чад своих взгляни:
Авель — твой,
как тот, что от Адама,
Каин, извини, от Сатаны.



Цена

– Не люблю тебя! – крикнул с порога.
Свою душу доверил гульбе.
По дороге пошёл. Но дорога
привела меня снова к тебе.

– Ведьма! – крикнул. Себя твоекратно
осенил православным крестом.
Воспарил. Дни мелькали, как пятна.
Рухнул наземь – увидел твой дом.

– Подпалю! Хоть орлы мне, хоть решки! –
Спичке внял – перегаромдохнул...
Синим тлели во тьме головешки.
Прослезилась душа. Я уснул

вечным сном. И упрашивал Бога,
чтоб приснились, хоть раз, те года:
прошлый мир, где любая дорога
лишь к тебе приводила всегда.



Хор ветеранов

Они восходят на пустую сцену,
Пустынен зал,
шпы огней горьки.
Опавших волн поют седую пену —
поют седую песню старики.

Не угождая музыке и слову,
не доверяя голосу давно,
Как будто вторят медленному зову,
который слышать

только им дано.



Из окна экскурсионного автобуса

За кладбищем солнце садится,
усталые стрелы меча.
Лампадка неведомой птицы
повисла в закатных лучах.

Ещё не объятые мраком,
опрятны всегда и чисты,
стоят обелиски — под мрамор,
из трубок — сварные кресты.

Вдали от болезней и пенсий
лети, наш автобус,
лети
под магнитофонную песню
о том, что вся жизнь впереди.

...Тропинки, дороги, орбиты —
нам кажется — всё нипочём.
А солнце
за скользкие плиты
цепляется хрупким лучом.



Поздняя акварель

Полоска заката порезом горит
на панцире ночи.
Спускаются тени к подножью горы
и что-то бормочут.

Воздетый маяк над безмолвием туч —
как памятник звуку.
То шарит, то гаснет прожектора луч,
похожий на руку.

— Что ищет в потёмках нагая рука?
— Ночного скитальца!

Нашарит. И гаснет огонь маяка.
И хруст —
Хруст в невидимых пальцах.



Землянин

В пучину идёт корабль:
в небесную ли, в морскую?
В пучину идёт корабль,
уже ни о чём не тоскуя.

Замкнулся земной предел,
погасли его прожекты.
Он часто был не у дел,
смирившийся с ролью жертвы.

Чужую прощал вину,
скорбел под схимой юродства.
Он сам так решил:
ко дну!
И в том суррогат геройства.

Корабль или человек,
изгой на своей планете,
Он прожил напрасный век!
Таких большинство на свете.



* * *

Ночь всегда необъяснима.
В тишине свечи
отличишь туман от дыма
за окном в ночи?

Скажешь, глупая затея.
Вот — ещё глупей:
это ведьма или фея
в комнате твоей?

Тела женского прохлада
страсти горячей.
Это грех или услада —
покориться ей?

Ночь — зыбучее мгновенье,
Судная пора.
Эта фея-привиденье
зла или добра?

Эти мёртвые узоры
звуков на устах —
Призрак лада или ссоры?
клятва или страх?

То, что зеркало кривое
отразило нож,
то, что тело — неживое, —
Правда или ложь?

... Ночь всегда необъяснима —
Угрызений час.
Всё проходит, но не мимо,
а пронзая нас.

Эти души, эти лица —
в пламени стыда...
Ночь — названная сестрица
Страшного Суда.



Мой прожитый год

Кого-то осудишь,
кого-то прославишь,
с пространством и временем счёты сведя,
Мой прожитый год,
ты, как старый товарищ,
помедли чуть-чуть,
оглянись, уходя.

Какому мгновенью
мы крикнем: «Воскресни!»?
Где ловкое тело над планкой парит.
Какие припомним заветные песни?
Где совести робкое пламя горит.

Какие припомним заветные песни?
Где совести робкое пламя горит.

Когда на любовь надвигалась опала,
хлестали слова, никого не щадя.
За дверью распахнутой бездна зияла.
И я прошептал:
«Оглянись, уходя».

Пускай невозможно начать всё сначала,
в глаза погляди не спеша,
не спеша.

Как будто меня не любовь оставляла,
а тело моё оставляла душа.

Как будто меня не любовь оставляла,
а тело моё оставляла душа.

...Мы сменой мест и событий богаты.
Как нервы гудят!
Как летят поезда!
Зачем эта женщина плачет: «Куда ты?»
Взгляни и останься
уже навсегда.

Когда мне всё в жизни покажется прозой,
Когда и со смертью я стану на «ты»,
пусть кто-то меня оглянуться попросит,
и я задержусь у последней черты.

Пусть кто-то меня оглянуться попросит,
и я задержусь у прощальной черты.



Вий — XXI

Кромешный рай:
пропойцы и паскуды.
И все меня обლობызать спешат.
В игольном ушке — пробка из верблюдов,
в корявой пятке — блудная душа.

Не искушайте, недочеловеки!
Вам жизнь дана — не тяжелой плевка.
... Зачем вы поднимаете мне веки?
Сей мир испепелит моя тоска.



Нить

Владимиру Солодовникову

Уже готовясь к вечному убытью,
за сущий миг до траурной межи
он обвязал своё запястье нитью.
Конец свободный мне отдал:
— Держи!..

Затем шагнул с презрительной улыбкой
туда, откуда возвращения нет.
Но след за ним скользнул суровой ниткой,
продетой через тот и этот свет.

...Та нить звучит
то властной тетивою,
то тихой паутинкой, то струной,
сакраментально делая живую
Связь навсегда Ушедшего со мной.

Живая нить! —
Ушедшего причуда
моей ладони трепет отдаёт...
Так жутко,
что сигнал идёт оттуда!
Так благостно,
что всё-таки идёт.

Песня

И вздохнут придорожные травы,
и осветится роша во мгле.
Слева — сумрак,
и звёзды — направо...

Что ты слышал об этой Земле?

Грянет утро просторно и зыбко,
как побег на засохшем стволе.
Слёзы гаснут,
восходит улыбка...

Что ты знаешь об этой Земле?

Рвутся наши минуты на части,
всё трудней удержаться в седле.
Горечь гонки
и думы о счастье...

Кем ты станешь на этой Земле?

Одолеешь ли норды и осты
на своей неподкупной тропе?
Тяжкий сумрак,
воздушные звёзды,

Что запомнит Земля о тебе?

Дождь на закате

Каждый звук застывает врасплох,
отнимая и чувства, и силы.
О, как явственно слышится вздох!
Под дождём оседают могилы.

Долго, глухо вздыхает земля,
прогибая пугливые доски...
Меж камнями туч, как змея,
ускользает заката полоска.



Переход

Посох вечерний,
путник ночной,
утренний трепет
дали степной.

Поздние тени,
раненый свет.
— Где ты, родимый?
— Нет меня... нет.

Пыль не осела,
свежи следы.
— Где ты, родимый?
— В капле воды,

в гордой травинке,
в горькой звезде,
в посохе вещем,
здесь и нигде.

В облачке Божьем,
в брызге огня...
— Где ты, родимый?
— Нету меня.

* * *

Запах серы и каменоломни
источает предутренний зной.
Я, как прочие,
просто паломник
в мир манящий, но всё же — иной.

Хоть кумир ты,
хоть робкий поклонник,
пред судьбою различия нет.
Человек!
Ты усердный паломник
на тот свет.

Путь, начертанный нам изначально,
одолею во имя Его.
— Вот и я уже, — молвлю прощально, —
как Христос — не от мира сего.



* * *

Отринув этот панцирь деревянный,
что пахнет свежеструганной доской,
открою полумрак обетованный,
Пристанище моё
и мой покой.

Там призрачно-прозрачно бродят тени
и души неприкаянно парят.
Там нет страстей и прошлых искушений.
И нет преград.

Скитайся, дух!
Без умысла, без толка.
Разорвано пространств и лет кольцо
во мгле живой,
в которой можно только
Лицом к лицу и разглядеть лицо.



После...

Мягкий трепет неба золотого.
Рваный бег напористого дня.
Вечер, горизонт — петлёй итога...
Будто бы и не было меня.

Мамин лик в туманных хлопьях стирки.
Нервная, скользящая родня.
Лампа. Света тусклые опилки...
Будто бы и не было меня.

Чай вечерний. Тени гладят стену.
Болтовня, упрёки, вялый спор.
Кто о чём! Лишь траурную тему
не затронет общий разговор.

И когда чуть внятно, чуть упрямо
странный стук послышится в ночи,
то его узнает только мама.
Вздрагнет, побледнеет, замолчит.

Мама, мама!
И умрёшь не веря,
что подведена за мной черта.
Двери распахнёшь. Но вновь за дверью
вечная качнётся пустота.

ИЗ ЮНОШЕСКОЙ ТЕТРАДИ

Родник

Он камни грыз,
буравил землю
и к солнцу рвался птичьей трелью.
И сушь пустынную бесила
его неубывающая сила.

Лишь тот,
кто пересохшими губами
хоть раз к нему, студёному, приник,
Узнал,
за что его назвали,
Как Родину,
так ласково —
Родник.

Вирази

Мотокросс!
И земли кружение:
вирази, вирази, вирази.
Вздуты вены от напряжения,
перегретый мотор дрожит!

От порыва стремительной стаи
слой дорожки колёсами сбрит.
Космонавтами парни летают
по кругам стадионных орбит.

А когда приближается финиш —
всем доступная высота,
кинолентой трудного фильма
дрогнет финишная черта.

Я хочу,
чтоб в стихах моих тоже
был бы круче вираж.
Я хочу
на парней этих быть похожим,
Но не как-нибудь,
не чуть-чуть.

Не хочу,
чтоб слова привыкли
ко всему прикасаться слегка.
А неслись чтоб слова —
мотоциклами,
покоря вираж стиха.

Реки и русла

Коль русла тиною поросли
обыденности тусклой,
как реки, праздная разлив,
Мы покидаем русла.

Из бережков, где с давних пор
текли почти безвестно,
нас манит и влечёт простор.
Нам тесно!

Долой отчаянье души!
Пронзительно-орлино
летим, зловеще хороши,
круша плотины.

Мы не намерены шутить.
В порывах, что так редки,
себя нам надо ощутить:
Мы — реки!

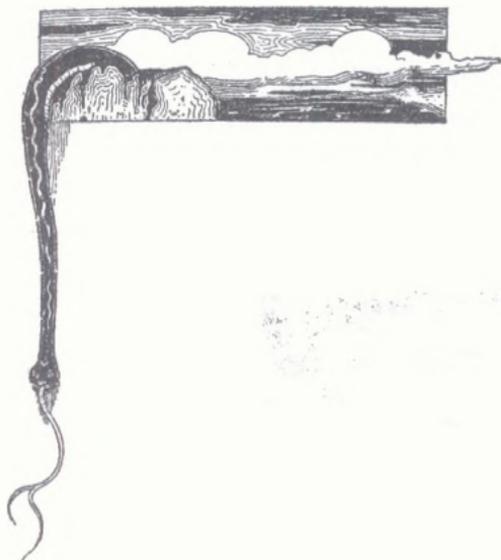
Голубизной гори, вода,
как пламя автогена.
Мы познаём себя, когда
мы в апогее.

А после — штиль!
Ветра сорви.
Уйми, обдай обычностью.

Но в русла упадём свои
с прекраснейшей добычей мы.

Нам — рядовым в большом строю,
нам, вышедшим на смену,
так важно силу знать свою.
И цену!

... Стихия! Будничность нарушь,
когда твоё значенье —
в спасенье рек,
в спасенье душ
и русел очищенье.



Авианабросок

Небо в тучах, как в плесени!
Но взорвался мотор.
Авиатор наш — бестия —
протаранил простор.

И осталась распоротой
грязных туч полоса.
А вокруг — так нетронута —
Небеса. Небеса.

Ты найди в себе силы
в дни фатальных невзгод
Вдруг возвыситься к сини
из трясины невзгод.

И паря журавлино,
и набрав высоту,
Никогда не покинуть
Чистоту. Чистоту.



* * *

И всё нам кажется сперва,
мы слепо сведены.
Забудь случайные слова,
запомни эти дни.

Любовь придёт,
она близка,
Ты только не вспугни.
В руке задержится рука.
Запомни эти дни.

И нет ни жизни, ни судьбы,
когда разлучены.
Не отлюби,
не отлюби.
Запомни эти дни.

Хоть сотню жизней проживи,
не будет и сродни
Второй такой,
второй любви.
Запомни эти дни.

А коль поссорит нас беда,
из памяти рвани
всё до последнего следа,
все наши «да»,
все наши «да»...

Запомни эти дни.

* * *

Л.А.

Краски лета растрочены.
Только ты не вини
эти льдисто — прозрачные,
Родниковые дни.

Время не многословия,
всё крикливое — чушь.
И какая-то новая
обозначенность чувств.

Этим строгим значением
день наполнен любовью.
Что весной — увлечение,
то под осень — любовь.

И судьбы повороты
нам теперь — не беда.
Если нынче со мной ты,
то уже навсегда.

А лучи — словно спицы,
тает солнца клубок...
Воздух парка искрится,
чист и глубок.

* * *

Но крыло моё сломано...
Я его волоку по земле.
Мне пока ещё солнечно,
я пока не тужу о крыле.

Мне пока ещё весело
откликаться на радостный зов,
и смотреть, и смотреть каждым вечером
на огни кораблей — городов.

Но за летом так близко и холодно
наступает прощаний страда.
Только мне почему-то не хлопотно,
ну, куда я с крылом своим сломанным,
ну, куда?

Лишь тебя, провожу тебя полем,
ты в глаза так светло поглядишь...
Будешь звать, будешь мучиться, помнить.
Только всё-таки ты улетишь.

Улетишь ты, любимая, смелая.
Задрожит твой отчаянный зов...
Я не знаю, бывает ли первая,
я в последнюю верю любовь.

Снег летит.
Он белей моих перьев.
Я не видел страшнее оков...
Мне приснилась сегодня не первая,
мне последняя снилась любовь.

* * *

А ты идёшь по роще онемелой,
где осень расставляет, как посты,
прощальные, такие неумелые
Осенние костры,
осенние костры.

Над ними что-то стройное, белёсое.
И кажется тебе из полутьмы:
уходят вверх упругими берёзами
Осенние дымы,
осенние дымы.

Не медлит сумрак принести тревогу.
А мысли так растерянно просты:
ну, вот и догорают понемногу
Осенние костры,
осенние костры.

В скупой росе, в слепой своей печали
ладони исцарапал о кусты...
А может, просто мы чуть-чуть устали,
Осенние костры,
усталые костры?

А может быть, доверчиво, но властно
забытое напомнили костры?
И внешнее, порой, совсем неважно,
когда так по-осеннему внутри.

... А ты идёшь по роще онемелой,
где вечер оставляет, как посты,
прощальные,
такие неумелые
Осенние костры,
осенние костры.

От них не веет заревом калёным,
но разглядишь ли ты из полутьмы,
что небо подпирают, как колонны,
Осенние дымы,
осенние дымы.



* * *

Не знаю,
может быть и легче
без тягот чёрного труда.
Но видел я:
ржавеют рельсы,
когда не ходят поезда.

Но видел я:
в грозу весною
они — почти металлолом —
дрожали тонкою струною,
когда катился стороною,
как поезд,
отдалённый гром.



Схватка

Ударил гонг, как гром июля.
Распятый ринг.
Боксёры, в бой!
Один величествен, как буря,
совсем неопытен другой.

А ринг качается коварно,
а ринг,
как палуба в штормах.
Здесь все равны,
здесь каждый главный.
Здесь удержаться б на ногах.

Бросает вниз ударов бремя,
И за борт смыть грозит волна.
На ринге — я,
соперник — время.

Но зал болеет за меня.



Содержание

Минувшие лики грядущего (наставления добровольца)	3
Сокровенное	12
Бомж	13
Два сердца	14
«Отмерял за пробелом пробел...»	15
«В коммунальном каменном лесу...»	16
Ночная тропа	17
Поэт	18
Накануне грядущей дороги	19
«Не печалюсь о прежних заботах...»	20
Русский узел	21
«Лик листа полуночно светел...»	22
Певчие птицы	23
Автопортрет, смываемый дождём	24
«Полусвет, полусвет, полутени...»	25
Неуслышанные слова	26
«Когда я понял, что у вас в чести...»	28
Мастер	29
Средневековый свет свечи	30
Российское откровение	32
Небесный поводырь	34
«Хочу, чтоб жили, никогда не ссорясь...»	35
Русский обычай	36
О мудрости змеиной	38
Бег	40
Рядом — игрок	42

Эго	44
Посещение	45
«В лабиринтах ушедшего мига...»	46
Бессмертный	48
Тапёр	49
За тонкою корочкой льда	50
«Одиночества не приемлю...»	52
«Проснусь в тревоге предрассветной...»	53
«Досадно за прожитый день...»	54
Расплата	55
Ошибка	56
Крылья	57
Агасфер	58
Демоническое	59
Превращение	60
Судьба	61
Речка родины	62
Завет	63
Технологические стихи	64
Последний алхимик	65
Родное	66
Недельный отпуск	68
Встреча осени в деревне Пригорье	69
Новогоднее воспоминание	70
Ночное облачко	72
«Как фантастичен этот снег...»	74
«А на лунной дорожке ухабы...»	75
Чужая планета	76
Летающий тополь	78
Ночь падающих звёзд	80
Поверженный идол	81
Калмыцкие степи	82
Портрет женщины с сигаретой	84

Микрорайон	86
Ночные птицы	87
Последняя встреча	88
«платонический месяц декабрь...»	89
«...я лежу в колыбели...»	89
«Звучанье горечи...»	90
Церковные голуби	92
Женщина в осеннем сне	93
Романс	94
Зов	95
Твоё письмо	96
«В глухой монашье тишине...»	97
Знамение	98
«Судьбы золотые отроги...»	99
Три дня	100
Учитель	102
Искушение	103
Грехопадение	104
Свидание	105
Малороссийская глубинка	106
«Женщину от века и донине...»	107
Цена	108
Хор ветеранов	109
Из окна экскурсионного автобуса	110
Закат	111
Поздняя акварель	112
Землянин	113
«Ночь всегда необъяснима...»	114
Мой прожитый год	116
Вий — XXI	118
Нить	119
Песня	120
Дождь на закате	121

Переход	122
«Запах серы и каменоломни...»	123
«Отринув этот панцирь деревянный...»	124
После...	125

Из юношеской тетради

Родник	126
Виражи	127
Реки и русла	128
Авианабросок	130
«И всё нам кажется сперва...»	131
«Краски лета растрчены...»	132
«Но крыло моё сломано...»	133
«А ты идёшь по роще онемелой...»	134
К музе	136
Последняя осень Ф. Гарсия Лорки	137
«Не знаю, может быть и легче...»	138
Схватка	139

Литературно-художественное издание
Баулин Павел Борисович

ВОЗВРАЩЕНИЕ
в прошлую жизнь
Книга стихов

Литературный редактор	А. Н. Лазутин
Художественный редактор	И. В. Князев
Технический редактор	Л. А. Рябоконе
Дизайнер	Л. В. Харламова
Корректор	Н. В. Чечeko

Формат 70x100/32.
Бумага офсетная. Гарнитура Литературная.
Печать ризографическая. Усл. п. л. 5,8.

Издательство «Дикое Поле»
Украина, 69063, г. Запорожье, ул. Чекистов, 31-А.
Тел.: (061) 213-75-95; 213-75-05.
Изд. лиц. ЗЗ № 004 от 23.08.2001 г.

Охраняется Законом Украины
«Об авторском праве и смежных правах»

Правовое сопровождение
Юридическая фирма «Щедрин и партнеры»
E-mail: schedrin_lf@reis.zp.ua

Отзывы о книге можно присылать по
E-mail: pb.baulin@mail.ru или на авторскую страницу
Павла Баулина (сервер Стихи.ру – www.stihi.ru)



Павел Баулин родился в городе Горьком, однако вся его жизнь связана с Запорожьем. Здесь он окончил школу, Запорожский машиностроительный институт, здесь началась его трудовая деятельность на Запорожском трансформаторном заводе.

Павел Баулин достойно проявил себя и в педагогике, и в журналистике, и даже в политике. Но, пожалуй, главное в его судьбе — поэзия. Первая книга поэта «Родниковые дни» вышла в 1980 году. Затем было издано ещё несколько сборников стихотворений.

В 1987 году Павел Баулин принят в Союз писателей СССР (ныне он член Союза писателей России). В 80-е годы создал и руководил популярной литературной студией

«Родник», позже — в течение нескольких лет возглавлял Запорожское областное литературное объединение.

Новая книга «Возвращение в прошлую жизнь» — в самом прямом смысле возвращение Павла Баулина в Поэзию. Ведь книги этого автора не издавались почти 20 лет. Тем интереснее и волнительнее новая встреча с поэтом. Добавим — желанная для многих встреча.

